



В ЮНАГЭАРСКІХ

БОЛЬШАЯ
БАРЫНЯ

Василий Александрович Вонлярлярский

Большая барыня

*изготовление fb2-документа из сетевого источника
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=176396
Большая барыня: изд-во "Правда"; Москва; 1988*

Аннотация

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века.

Роман впервые был опубликован отдельным изданием (ч. 1–2. М., 1852) и, как свидетельствует современник, имел большой успех. «...Его читали с удовольствием и издание раскупилось очень быстро» (Заметки. – Санкт-петербургские ведомости, 1853, 11 янв., № 8, с. 29, подп.: И. М.).

«События искусно расположены и хорошо связаны, развязка неожиданна, естественна, трогательна» писал критик О. И. Сенковский

Содержание

Часть первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Василий Вонлярлярский

Большая барыня

Часть первая

В отдаленном уезде одной из западных губерний, на весьма неживописном берегу речки Коморца и поднесь красуется усадьба, принадлежавшая некогда Петру Авдеевичу Мюнабы-Полевелову. Усадьбу эту получил Петр Авдеевич в наследство от отца своего, умершего в 18... году. Петр Авдеевич служил тогда в одном из армейских уланских полков штаб-ротмистром и считался ездоком. Не имея ни матери, ни братьев, ни сестер, штаб-ротмистр как единственный наследник родителя почел за лучшее выйти в отставку. Он был широкоплечий малый, лет двадцати осьми, роста среднего, с красными руками и лицом довольно обыкновенным. Волосы его были черны и жестки, лоб мал, глаза без выражения, зубы белы и ус длиннее всех усов бригады, в которой служил Петр Авдеевич; ус этот начинался под носом, не останавливаясь проходил мимо углов рта и терялся под самым подбородком.

Неожиданная весть о кончине родителя огорчила штаб-ротмистра; он не плакал – это правда; но не проходил мимо его ни один офицер, ни один лекарь, ни один аудитор, которому бы Петр Авдеевич не сказал: «А знаете ли? ведь батюшка-то умер! вообразите себе». И, высказав это, он в задумчивости брался за ус, тянул его вниз, клал его в рот и проходил далее.

Первую ночь сиротства своего провел штаб-ротмистр тревожно; но следующие менее тревожно, а чрез неделю засыпал скоро, спал крепко и просыпался в обычный час. Несправедливо было бы упрекать в нечувствительности сердце Петра Авдеевича. Сердце его с девятилетнего возраста отдано было, вместе с ним, в одно из учебных заведений и в продолжение очень долгого времени билось это сердце на родительской груди один только раз. Обязанности службы и далекое расстояние уничтожали всякую возможность частых свиданий сына с отцом, а потому и смерть родителя умеренно поразила детище.

В один из майских, ясных дней 18... года перекладная почтовая телега остановилась у деревянного домика сельца Костюкова, Колодезь тож (так звали поместье штаб-ротмистра); с телеги соскочили покрытый грязью, небритый Петр Авдеевич и камердинер его, желтовласый детина лет тридцати. Целых пять лет не видал усадьбы отца своего штаб-ротмистр, целых пять лет не билось сердце его при встрече с знакомыми местами, с полуразвалившейся часовнею, с толстым развесистым дубом, с деревушкою, служившею предместьем Костюкову, с обрывистою дорожкой, пролежавшею по берегу Коморца, и, наконец, с самым двором усадьбы, отгороженным еловыми кольями от фруктового сада и хозяйственных строений. В этот приезд Петр Авдеевич не шептал про себя: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его», не бросался с невольным трепетом к руке строгого и сурового отца; он без страха вылез из телеги; но тем не менее в глазах его изобразилась глубокая печаль, и он не раз отворачивался от приказчика, прежде чем вошел в прихожую опустелого родительского дома.

– Здорово, Кондратий, здорово, Егорыч, – проговорил молодой помещик дрожащим голосом и целуя в седую голову шестидесятилетнего приказчика пошлой наружности; приказчик, не успевший удержать пойманную им невзначай барскую руку, поцеловал барина куда попало и бросился отворять дверь в залу.

В так называемой зале, то есть небольшой комнате с пятью окнами, кривым полом и плетеными стульями, висел в зеленых рамках отцовский портрет: на нем изображен был Авдей Петрович в охотничьем наряде, с рогом, пороховницею, дробовиком, ягдташем, ножом и арапником через плечо; лицо покойника и глаза смотрели прямо перед собою; ноги,

обутые в длинные сапоги, выворочены были наружу; левою рукою держал он двуствольное ружье, а правую указывал собаке на сидевшего в кусте бекаса, почти одинаковой с собакою величины. Позади охотника виднелся дом и строение Костюкова, а позади строений художник изобразил нечто среднее между небом и землею. Штаб-ротмистр приостановился у портрета, пристально посмотрел на него, и вздохнув глубоко, прошел в гостиную, из гостиной в диванную, из диванной в комнату, служившую недавно спальнею Авдею Петровичу.

– Я буду спать здесь, – сказал Петр Авдеевич приказчику, следовавшему молча за баринном.

– Слушаю, слушаю, сударь, – отвечал старик, – но покой этот...

– Батюшкин, – прибавил штаб-ротмистр, – знаю!

– Ловко ли будет, сударь?

– Как ловко ли? отчего ловко ли?

– Так, батюшка Петр Авдеевич, все думается, что скончаться изволили...

– Неужто же ты боишься, Кондратий Егорович! – заметил, улыбаясь, штаб-ротмистр.

– Бояться? чего бояться, сударь? жизнь кончили христиански, бояться грех, а все думается...

– Полно, брат, мертвые не встают; вели-ка постлать мне на этой кровати, вот и все. Видел ли ты сына, Егорыч? – прибавил штаб-ротмистр, садясь в кресла, – посмотри, какой молодец!

– Много доволен вашими милостями, батюшка Петр Авдеевич! – воскликнул приказчик, снова бросаясь к барской руке, – кому же и беречь слугу, как не господину: я ваш слуга.

– И лихой малый, надобно правду сказать, Егорыч, проворный такой, хват, доволен очень.

– А довольна ваша милость, и я спасибо скажу, сударь. Что, пьет он, Петр Авдеич?

– То есть как тебе сказать? пить пьет; кто же не пьет? и я пью.

– Ну, слава же тебе, господи, – повторил старик с умилением.

– Разумеется, случится, выпьет, – продолжал, потягиваясь, штаб-ротмистр, – да у меня, знаешь, Егорыч, пить пей себе – слова не скажу, и пьян будь – ничего, ну, а уж дело какое случится, понимаешь?

– Как же не понимать, сударь, известно, дело случится!..

– Вот то-то же; впрочем, грешно сказать, малый на все взять; послать ли куда, купить ли что, у полковника вечер какой, обед... принарядиться... одно – на руку не чист; положишь оплошно, не прогневайся!

– Что вы, батюшка, упаси же, господи!

– Небось думаешь у меня? нет, брат, за этакое, брат, дело, он знает... ни-ни! а вот у другого кого – мое почтение!..

– Ну, коли не у вас, батюшка, Петр Авдеич, так дело другое, а господского не тронь, не то не посмотрю, и вы, сударь, не прогневайтесь, такую трепку задам!

– Нет, нет, грешить не хочу, Кондратий Егорыч, за моим добром блюдет, как следует; нечего пустого и говорить!.. Ну, скажите же, Кондратий Егорыч, вспоминал ли батюшка обо мне, когда умирал?

– Как же не вспоминать, Петр Авдеич, ведь родное дитя и одни изволили быть у покойного барина.

– Как же он вспоминал?

– А вот говорили, бывало: «Где-то теперь Петруша? чай, по фронту или ученьем каким заниматься изволит!» А в другой раз, под вечер, спросят карты и гадают все об вас, батюшка, и скоро ли женитесь, и какой там чин получите; а кончатся стали-с сердечные: «Воды», – говорят, воды просили, мучились жаждою и чего ни делали; нет, видно, срок пришел, сударь, от смерти не уйдешь, не спрячешься.

– Посылали ли вы за лекарем, Егорыч?

– За лекарем, батюшка? за лекарем-то, правда, не посылали; священник же, отец Аникандр, был и при самом издыхании все находился при барине!.. завидная кончина! – приказчик вздохнул, окончив свое повествование, а Петр Авдеевич предался хотя не продолжительному, но грустному размышлению.

Пока барин разговаривал с приказчиком, камердинер вытащил из перекладной телеги рыжеватый чемодан, кожаную сумку, погребец, обитый телячьей шкуркой, кулек с колодами, саблю, завернутую вместе с чубуком, и пару чудовищных пистолетов; все это разложил Ульян (так звали камердинера) на дощатом крыльце, окруженном толпою дворовых женщин и детей обоюбого пола. Когда же, перешарив сено, камердинер отыскал остаток стамбулки, то вынул из кармана шаровар гарусный кошелек, достал оттуда медный пятак, бросил его ямщику, потом снял фуражку и принялся обнимать поочередно предстоявшую публику, наделяя каждого тремя полновесными поцелуями. Все это происходило в Костюкове, Колодезь тож, часов около двух пополудни. Более получаса употребил Петр Авдеевич на грустные и тяжкие размышления и воспоминания, но желудок штаб-ротмистра, не принимавший, по-видимому, ни малейшего участия в скорби сердца, шепнул наконец, что час обеденный наступил давно.

– А что, брат Егорыч, ведь поесть бы надобно, – сказал барин, обращаясь к приказчику.

– Как же, батюшка, надобно, особенно после дороги.

– То-то, Кондратий, да есть ли у вас что-нибудь?...

– Что вы, сударь, в господском доме да не найти?... все есть; прикажете позвать Прокофьяча?

– Жив разве?

– Что нам, старикам, делается?

– Так позови Прокофьяча, или... постой; вот что, Егорыч, потрудись, любезный, приказать ему состряпать так, что-нибудь; супу не нужно, прах ли в нем, а гуся или уточку.

– Слушаю-с, слушаю-с.

– Потом ветчинки провесной нарезать этак ломтиков с пяток, да чтобы сальца не отрезывал прочь.

– Понимаю-с, понимаю-с.

– Или почек, когда бы достать можно было, так селянку на сковородке с луком.

– Слушаю-с, слушаю-с, батюшка Петр Авдеевич, извольте быть благонадежны, все прикажем мигом.

– Пожалуйста, братцы, поторопитесь.

– Слушаю-с, слушаю-с, – повторил приказчик, пускаясь бегом вон из комнаты, в которой остался полуутешенный Петр Авдеевич. Он потер себе руки, потом пожевал ус и, встав с кресел, принялся осматривать окружавшие его предметы. Первое, что попало ему на глаза, был шкаф с книгами. Штаб-ротмистр поспешил отвести взор свой от этого слишком живого воспоминания чего-то весьма неприятного: Петр Авдеевич никогда не мог забыть слез, пролитых им некогда над «Кратким изложением всех пяти частей света»; сколько раз, бывало, в детстве своем, штаб-ротмистр стаивал за них на коленях, сколько раз, чрез посредство покойного родителя, представлялся юному Петру Авдеевичу случай приходить в соприкосновение с этими драгоценными творениями, и тогда черты сыновнего лица мгновенно переменили выражение, а желудок лишился одного или двух блюд. В настоящую минуту штаб-ротмистр удовольствовался тем, что окинул давнишних врагов своих презрительным взглядом и, обойдя шкаф, углубился в рассматривание нескольких картин, симметрически развешенных между изразцовой печью и дверьми.

Петр Авдеевич очень хорошо помнил, что одна из этих картинок изображала прехорошеньких детей, перепуганных внезапным появлением волка; ему, то есть Петру Авдеевичу,

казалось даже, что у волка этого были красные глаза и темно-лиловая шерсть; что лапами зверь упирался на одного малютку, в то время как морда его обращена была к другому зверю, прехладнокровно выглядывавшему из окна, и что второй зверь впоследствии должен был спасти несчастных и оказался доброю и верною собакою; все это помнил штаб-ротмистр, но рассмотреть не мог, потому что стекло, покрывавшее картинку, значительно потускнело. Петр Авдеевич поднес палец ко рту, потом потер им стекло, и действительно: глаза у волка оказались красного цвета; тот же палец поднес снова Петр Авдеевич ко рту и нова потер им стекло, и темно-лиловый цвет волчьей шерсти вышел наружу довольно явственно. Ободренный успехом, новый владелец Костюкова продолжал труд свой, и вскоре вся картинка представилась его взорам со всеми подробностями и даже с надписью. Насмотревшись на добрую и верную собаку, Петр Авдеевич взглянул украдкой на палец, поморщился, потер его об рейтузы, плюнул несколько раз на пол и, тронув мимоходом все, что ни попадалось ему под руку, прошел из спальни в залу, захватил фуражку, надел ее себе на голову и вышел на крыльцо.

Убедившись, что в последнее пятилетие на костюковском дворе не произошло ни малейшей перемены и старый бревенчатый амбар находился, как и прежде, против кухни, а молочник против ледника, штаб-ротмистр сошел с крыльца, повернул направо и направил стопы свои к калитке, ведшей в сад; тут пристала к Петру Авдеевичу худошавая гончая собака с отвислым животом. Петр Авдеевич погладил собаку, прошел с нею весь сад, остановился на минуту у небольшого четверугольного пруда, поглазель на уток, бросил в них щепкой, за которой посылал было собаку, но собака не повиновалась; треснув ее за то ногою, штаб-ротмистр принял направление к скотному двору и прочим хозяйственным строениям. Скромную костюковскую конюшню, а равно и коровники, нашел новый хозяин пустыми: скот и лошади паслись в поле. Оставалось заглянуть на псарню и мельницу; в первой встречен был барин лаем дюжины дрянных собачонок каких-то неведомых пород; во второй колеса и крылья были поломаны, а паутина, покрывавшая шестерни, свидетельствовала о давнишнем ее бездействии.

Не очень довольный порядком, найденным по хозяйственной части костюковского управления, Петр Авдеевич возвратился домой в полной надежде, что его встретит Кондратий Егоров с тарелкой под мышкой; так, по крайней мере, водилось при покойном родителе, который не мог проглотить куска, не убедившись предварительно в том, что вся костюковская дворня присутствовала при барском обеде.

Но ошибся штаб-ротмистр: в зале не заметил он и признаков приготовлений к обеду. Петр Авдеевич свистнул – никто не являлся; свист повторился громче, и по прошествии нескольких минут послышались отдаленные шаги в сенях, потом в передней, наконец дверь из прихожей отворилась и на пороге показался нечесаный образ человеческий в казакине из толстого сукна, в холстинных панталонах и в сапогах с окнами. По наружности существо это принадлежало к числу заштатных служителей помещичьих домов низшего сорта.

– Прокофьич, это ты? – воскликнул барин, узнав в пришлеце старого отцовского повара.

– Я, батюшка Петр Авдеич! – И повар, дрягнув ногами, отвесил поклон одною только головою.

– Постарел же ты, брат! насилу узнал, ей-богу, насилу узнал.

– Без господ жизнь плохая, барин; дело наше таковское, ребяташек много; умыть, одеть некому – месячина самим вам известно какая! Была коровенка – в прошлую осень волк зарезал.

– Изготовил ли ты мне что-нибудь поесть, Прокофьич? – перебил штаб-ротмистр, знавший наизусть все прошедшие и предчувствовавший все последующие бедствия Прокофьича.

– Вот за этим-то я и изволил прийти, барин, – отвечал повар, понизив голос и вытянув шею, – ведь дело-то плоховато.

– Как плоховато?

– Как же, батюшка барин, сами рассудить изволите, приказывали изжарить то есть гуся; да ведь гуси-то, барин, какие теперь гуси? есть гуси семенные, ведь только слава, что гуси.

– Мне все равно, Прокофьич, пожалуй, я утку есть стану.

– Эх, батюшка барин! ну, а утки теперь какие? ведь утки семенные остались, дело осеннее, не то чтобы подать господину, а и наш брат есть не станет. Ну, сами рассудить изволите! ощиплешь перья, останется там нос какой – нибудь да лапы; приличное ли же дело? вот осенью, на заморозках, так подкормить житцей, выйдет штука!

– Так черт же побери; давай хоть селянки!

– Селянки? – повторил, ухмыляясь, Прокофьич, – селянки? да из чего же, барин, сделать-то селянку? Из почек, сказывал приказчик; а откуда возьмешь почек? вы бы, батюшка барин, взглянуть изволили на скотинку; ведь только слава, что бараны!.. а, прости господи, другой тулуп жирнее господских баранов-то. Мужичок-то несет что ни есть у него отменного, да не доходит оно до милости вашей; оттого-то и на приказнице фрезы всякие, и в церкви стоит, думаешь, барыня какая; истину вам докладываю.

– Стало, есть нечего? – воскликнул выведенный из себя Петр Авдеевич.

– Отчего нечего, барин? найдется что покушать, и я милости вашей докладываю, как верный слуга, что гуси, примерно, или утки остались только семенные; не стали бы гневаться, как подашь штуку, да штука-то выйдет неподходящая.

– Дьявол вас побери совсем! этак просто с голоду, умрешь, – проговорил с сердцем штаб-ротмистр, – ну, дай хоть шей каких-нибудь, а там увидим.

– Капустки-то хватило на полпоста, батюшка, а коли приказать изволите, так можно собрать ребят да затянуть карасиков; дело-то будет сподручнее; сметанки добудем у мельника, маслица же найдется и у приказчика.

– Неужто и масла-то нет господского? – спросил удивленный помещик.

– Что и докладывать! просто не наше дело, барин! осмотреться изволите, не утаится ничего от милости вашей... а карасиков приказать нешто?

– Давай хоть карасей, да живо!

– Духом, батюшка, духом; только бы захватить старосту, не уехал бы куда, – последние слова договорил Прокофьич, затворяя за собою дверь из прихожей.

Краткий разговор с Прокофьичем усилил неблагоприятное впечатление, произведенное на ум Петра Авдеевича беспорядком, найденным им по хозяйственной части, и заронил в душу нового помещика первую искру досады.

«Как! – говорил он сам себе. – Оставить службу, оставить третий эскадрон, мундир, эполеты, товарищей! И для чего же? чтоб голодать в этой трущобе? Черт надоумил меня сделать такую глупость!»

Штаб-ротмистр засунул ус в рот, а руки в карманы рейтуз и, приподняв плеча, отправился снова в опочивальню, где, как ему было известно, хранились в конторке хозяйственные книги покойного родителя. «Ежели и в них подобное творится, так дьявол же побери!» – подумал костюковский владелец и с сердцем повытаскал из конторки все бумаги, какие попались ему под руку.

Схватив первую тетрадь, Петр Авдеевич наудачу развернул ее и, опершись обоими локтями в стол, стал разбирать следующее: «не полон, чтобы... можно было после в него... влить... две бутылки воды... сахару десять фунтов покласть... в кастрюлю и вылить из бочонка, ставить кипятить... пену счищать, потом снять с огня, взять тридцать штук бергамотов... счистить кожу, зерно изрезать и вскипятить и завязать пузырем и...»

Штаб-ротмистр гневно швырнул тетрадь под стол и взял другую, – на другой, очень узенького формата, прочел Петр Авдеевич слово *шот*. На первой странице рядом с *ОЗ*, стояли какие-то каракули; некоторые из них напоминали цифры, другие ижицу.

Вторая тетрадь последовала за первой, а остальные за второй. Оставалось положиться на честность приказчика, на которую, впрочем, как казалось, не очень полагался Прокофьич.

В седьмом часу вечера костюковский помещик уничтожил довольно большое количество карасей, запил их чаем и в девятом часу лег спать.

По прошествии недели Петр Авдеевич свыкся с мыслию, что за ним по ревизии значится сто двадцать пять душ мужеского пола, что заложены эти души в Московский опекунский совет, что добавочные взяты и по подушным находится недоимка, что хлеб родился плохо, а на скотине, кто ее знает отчего, и шерсть не растет; что Кондратий Егоров мошенник, а Прокофьич и рад бы состряпать для барина суп *pure*, да для этого надобно «взять, сварить и как готово остудить, мелкое мясо обобрать и изрубить помельче и сварить восемь яичек, и взять хлеба, и корочки прочь срезать, и положить чумички полторы бульону и ставить на плиту и мешать, не давать кипеть, и отпускать с гренками» и проч. и проч., но ничего этого не было у Прокофьича, а была у него только книга, с которою познакомился барин в первый день своего приезда в Костюково, Колодезь тож, а хранилась книга эта в отцовской конторке.

Благодаря умеренности родителя частных долгов на имении не было, а потому, следуя мудрому примеру Авдея Петровича, и Петр Авдеевич мог продолжать жить, как жил родитель; на это и решился Петр Авдеевич, который, впрочем, и не был избалован роскошью. Конечно, в полку, бывало, задумай штаб-ротмистр проехаться в штаб или в другое какое место, Ульян впрягал в легонькую, как перышко, тележку, тройку таких лошадей, каких не было и у самого казначея, а хомуты-то на них надевал Ульян обшитые алым сукном, и на уздечках бубенчики, и не простые, а валдайские, чисто валдайские... Однажды полковник спросил у Петра Авдеевича: не продаст ли он тройку свою?

– Я? продам? – воскликнул штаб-ротмистр. – Я? да ни за какие блага в мире! Да вот как, и за полтора целковых не продам!

Вот каких лошадей держал Петр Авдеевич в полку, в то время как Авдей Петрович, то есть родитель его, довольствовался только парочкою разношерстных, а ездил обыкновенно в таких четвероместных дрожках, с рыжими фартуками, что, приснишь эта дрянь иному брезгливому, стошнит, пожалуй.

– Неужто у батюшки ничего не было, кроме этого коландраса? – спросил у приказчика костюковский помещик, осматривая с прискорбным вниманием четвероместные дрожки.

– Были, сударь, и беговые, – отвечал Кондратий, – да покойный барин изволил их на бричку променять.

– Стало, есть бричка?

– Есть-то есть она, сударь, да плоховата!

– Покажи, братец, починим; по крайней мере, на худой конец проехать можно; а в этой штуке, – прибавил штаб-ротмистр, указывая все-таки на дрожки, – сам посуди, да что тут говорить? на ином толчке язык откусишь, пожалуй; и как-таки мог покойный батюшка трястись на них? чай, жизнь сокращать должны.

– И бричка-то, сударь, правду доложить вам, не больно взрачна. – Говоря это, приказчик бросался шарить по всем углам сарая, он заглядывал и на потолок, и за ворота, и только что не под четвероместные дрожки.

– Чего же ты ищешь, Кондратий? – спросил наконец штаб-ротмистр.

– Не знаю, куда девали!

– Кого?

– Бричку, сударь, – отвечал Кондратий Егоров, продолжая поиски свои.

– Кой прах, неужто пропала?

– Что вы, батюшка, статочное ли это дело? господская вещь не пропадает, а може, наругом кто-нибудь?

– Как наругом?

– Все Тимошкины штуки, Петр Авдеевич, такой уж разбойник, что ему бричка, не его! Да, так и есть, – прибавил приказчик, выглянув из щели задней стены сарая, – вот она!

И взорам господина представился не экипаж, а нечто вроде остова большой рыбы, у которой как бы отрублены были и голова, и хвост. За сараем, на груди разных нечистот, лежал темного цвета скелет; на круглых ребрах его местами болтались куски кожи, торчали заржавленные гвозди, а о колесах и помину не было.

– Неужто ты эту нечисть называешь бричкой? – воскликнул штаб-ротмистр, грозно занося ус свой в рот, – так-то бережется барское добро?

– Тимошка, сударь, все он, головорез, батюшка, Петр Авдееч, – отвечал оторопевший Кондратий, – сколько раз говорил я ему: «Прибери, не то барин гневаться будет», и в ус не дует, сударь.

– Не дует? так подавай же его сюда, мошенника! – закричал Петр Авдеевич, рассердясь не на шутку, – я его проучу по-своему, я его...

Приказчик бросился со всех ног за Тимошкой, а штаб-ротмистр продолжал строгий осмотр брички, приговаривая: «Уж я его, уж я его!» – и повторял разгневанный костюковский помещик «уж я его...», пока к тылу помещика не подошел детина лет пятидесяти с таким богатырским затылком, пред которым самые плечи Петра Авдеевича казались дрянью.

На пришедшем было пунцовое лицо с усами и нечисто выбритым подбородком; волосы его подстрижены были в кружок и прикрывали плоское темя, а на каждой из рук недоставало по несколько пальцев.

Он молча выждал, пока барин повернулся в его сторону, и, поклонившись ему, тряхнул головой.

– Поди-ка сюда, любезный! – сказал штаб-ротмистр.

Тот сделал два шага и снова остановился.

– Нет, брат, сюда, сюда поближе!

Детина сделал еще два шага.

– Ну, теперь расскажи-ка мне, что это такое? – спросил Петр Авдеевич и указал пальцем на остов брички.

– Эвто?

– Да, это, вот это!

– А прах его знает, – отвечал спокойно тот.

– Как же прах его знает?

– Да так, прах его знает!

– И ты, кучер, смеешь мне так отвечать?

– Какой я кучер, сударь!

– Да ведь ты Тимошка?

– Так что же что Тимошка? и Тимошка, да не кучер, а коли есть у кого кучер, так есть и лошади, и всякой снаряд; а то и был кучер, хороший кучер, сударь, да на эвтом не наездишься, – прибавил Тимошка, нанося ногою жестокий удар несчастному остову.

Выходка Тимошки не только не разгневала господина, а, напротив того, страх понравилась ему. Окинув взглядом формы бывшего отцовского кучера, штаб-ротмистр нашел его по себе.

Петр Авдеевич не любил мямлей, и будь хоть пьян, хоть груб, да лихой, так спасибо говаривал он подчиненным своим уланам; и тут, смягчив голос, он ограничился легким выговором за неисправность в сарае и небрежность Тимофея в сбережении брички.

– Да чего тут беречь? да какая ж тут брочка? да эвто же, с позволения сказать, не брочка, – возразил Тимофей, нанося вторичный удар жалким остаткам родительского экипажа. – Да ведь вольно же было покойному барину! Не докладывал я разве, что Сельской как раз проведет. Дрожки были не брочке чета, сударь, дрожки добрые; ведь эвто только название что брочка; «Нет, променяю, – говорит, – а ты молчи, не люблю, чтоб рассуждали со мною». Вот и променяли, а что наездили? двух годов не наездили, сыпаться стал; и какая езда была у покойника, ведь только слава, что езда; проедутся в церковь, бывало, вот и вся езда!

– А давно ли ты здесь? – спросил Петр Авдеевич, – и как я тебя не знаю?

– Да, я, сударь, правду сказать, не то чтобы давно как сыскался, – отвечал Тимошка, значительно понизив голос.

– Откуда же это?

– Да был грех такой, сударь.

– Грех?

– Сманили соседние ребята, так отлучился маленько.

– То есть бежал?

– Был грех, сударь, был, что уж тут, не утаишь, – повторял Тимошка, поглаживая свои волосы и переминаясь. Он видимо смутился.

Петр Авдеевич, заметивший перемену в лице Тимофея, завел речь о другом.

– Надобно добыть лошадок, братец, – сказал штаб-ротмистр, обращаясь уже с веселым лицом к кучеру, которого глаза при этом слове заблестали радостью.

– Как бы не нужно, – отвечал Тимофей.

– А где бы, например? знаешь разве?

– Еще бы не знать, барин! кому же и знать-то, сударь, как не мне, слава тебе, господи!

– И хорошие есть?

– Лошадки-то-с?

– Да!

– Да, есть и хорошие; вот об вознесенья проехать в город, не дальше место! и ярмарка будет важнейшая, и лошадок наведут вдоволь, так и выбирать можно!

– А когда ярмарка?

– В четверг, сударь.

– Да в чем же ехать?

– Ехать в чем-то? да в чем же, как не в дрожках?

– Вот в тех, что тут вот?

– Больше не в чем!

– Нет уж, брат, спасибо за дрожки; была бы телега, в телеге скорее.

– А в телеге, так телегу соберем к четвергу, – отвечал Тимофей; и, продолжая дружески разговаривать между собою, барин и кучер направили шаги свои к дому, где ожидал первого скромный ужин, приготовленный Прокофьичем, а второго неприязненный взгляд Кондратия Егорова, самого значительного лица в Костюкове, Колодезь тож.

Кто, подобно Петру Авдеевичу, никогда мысленно не возносился к облакам, не строил воздушных замков и даже не считал себя существом, созданным для чего бы то ни было исключительного, тот легко поймет, что в сельской простой и материальной жизни всякая новинка производит на ум и сердце самое благоприятное впечатление; и одно ожидание Вознесенской ярмарки сделало уже Петра Авдеевича благосклоннее к Кондратию и снисходительнее ко всему, что его окружало. Наговорившись вдоволь с Тимофеем-кучером, Петр Авдеевич поднес ему собственноручно большую рюмку настойки и отпустил тогда только от себя, когда сам лег в постель.

– Но где бы достать деньжонок? – думал штаб-ротмистр, засыпая, – у Кондратя есть, да не даст, мошенник. Будь еврей, а может, и есть еврей здесь где-нибудь? чтоб не забыть

завтра спросить; коли же есть, так и хлопотать не о чем. Ну, а как нет? да не может быть, чтоб не было, уж такая вещь; а ведь бестия этот еврей, ну кого же не продаст? ведь всякого продаст... сущий каналья!.. – то была последняя здравая мысль, промелькнувшая в воображении Петра Авдеевича, после которой он и заснул крепчайшим сном.

Как ни ограничено было состояние Петра Авдеевича, тем не менее появление его в уезде не прошло незамеченным, и имя штаб-ротмистра уже неоднократно произносилось на вечерних сборищах у городничего того города, к уезду которого принадлежало Костюково и в котором в праздник вознесенья бывала большая ярмарка. Многие дивились даже, что новый костюковский помещик не взял на себя труда засвидетельствовать им лично своего почтения, и приписывали подобное несоблюдение приличий спеси молодого помещика. Истинная же причина домоседства Петра Авдеевича была, как нам известно, пара разношерстных, оставленная сыну покойным родителем, и четверомятные дрожки, на которые не хотел садиться штаб-ротмистр ни под каким видом.

Но, благодаря судьбе, в окрестностях Костюкова, на спорной земле, у пересохшей речки, в полуистлевших остатках развалившейся мельницы, отыскался жид. Жид этот явился к Петру Авдеевичу, поглазел на поля, строение, луга, на остов брички, с которою кучер Тимошка обращался так неделикатно, и уже потом, неизвестно почему, рыжий сын Израиля ссудил костюковскому помещику преизрядный мешочек разной звонкой монеты, с которым и отправился штаб-ротмистр на городскую Вознесенскую ярмарку.

Редко бывает, чтобы в этот праздник солнце не восходило светло и весело, чтобы небо не было ясно и воздух не палил зноем; и на этот раз, как и всегда, день был прекрасный.

По большим и проселочным дорогам, ведущим к городу, тянулись с ранней поры вереницы телег, нагруженных всякою всячиною. Рядом с ними шли большими толпами разряженные окрестные мужики в белых холстинных зипунах и в высоких черных шляпах, обшитых золотым позументом. На крестьянках пестрелись цветные юбки, парчовые шнуровки и белые, как снег, наметки. Ко всеобщему говору и крику шедших и ехавших присоединялось громкое ржание диких лошадей, табуны которых гнались по обочинам дорог, а всему этому вторил отдаленный колокольный звон, продолжавшийся обыкновенно до самого полудня; и редкий из ехавших или шедших не побывает предварительно в святом храме, прежде чем позволить себе предаться от всей души наслаждениям ярмарки, до которых так лаком наш русский народ. Как ни велики успехи, сделанные на Руси европейским просвещением, но не заметны они в простом народном быту и едва ли Вознесенская ярмарка девятнадцатого столетия отличалась чем-нибудь от таковой же, на которой предки наши два столетия назад торговали лихих коней под доезжачих своих у смуглых предков современных табунщиков.

В час пополудни на обширном поле, прилегавшем одним концом к городскому валу, а другим к длинной каменной ограде городского же кладбища, соединилось все, что шло и ехало недавно на ярмарку по всем окрестным большим и малым дорогам. В центре поля помещался главный товар ярмарки, то есть большое количество лошадей, согнанных и приведенных на нее со всех концов России. Рядом с целым фронтом приводных жеребцов, откормленных всеми неправдами, как-то: отрубями, рубленую соломою и нередко известью, стоял степной косяк и на тесной площадке, огражденной плетнем, суежилась, визжа и огрызаясь, сотня разношерстных коней не знакомых ни с уздою, ни с оглоблями. Но приглянись один из дикарей кому бы то ни было, в тот же миг смуглый татарин бесстрашно бросается в стадо, ударами ременной плетки пролагает себе дорогу, и через минуту сарканенный конь, дрожа всем телом, предстанет смиренно пред покупателем. Вкруг косяков разбросаны были кое-где поезжаные помещицы экипажи допотопных фасонов, крестьянские тележки с разною разностию, палатки с медовыми пряниками и с прочими товарами низшего сорта, составляющими необходимую потребность скромных деревенских жителей. Поодаль от всего этого, в шалаше, построенном из ельника, помещался кабак, а в нескольких шагах

от него безносая баба пекла на чугунной сковороде олады, и пекла она их на зеленом конопляном масле. В промежутках молодые парни играли в орлянку, а крестьянские девки водили хоровод. Кругом игравших и плясавших толпился народ; лица одних начинали уже покрываться ярким румянцем, ноги других переставали уже повиноваться, но все еще говорили, смеялись, махали руками и веселились от души.

Впрочем, поприще Вознесенской ярмарки не ограничивалось одним загородным полем, предоставленным единственно черному народу и лошадям.

Высшее сословие, хотя и мешалось изредка с низшим, но местом, собственно ему принадлежавшим, был самый вал; на нем в магазинах, наскоро сколоченных из досок, заезжие купцы прельщали горожанок и помещиков роскошными батист-декосами, муслин-ленами и заграничными пу-де-суа; на том же валу трактир «Берлин» заманивал блестящею вывескою своею в офицерскую палатку, где наскоро сколоченный из досок узкий стол уставлен был рябыми тарелками с бутербротом, паюсною икрою, кильками и известковыми конфетами в цветных бумажках, а в графинчиках виднелись разных цветов водки и ликеры.

Прибывший из Австрии на вал отец семейства пред входом в «Берлин» разостлал на землю довольно грязный ковер и под звуки шарманки выкидывал такие штуки, что вся публика приходила в восторг и удивление. Родитель в испанском костюме из гробового полубархата ложился на спину, подымал тонкие ноги свои вверх и подбрасывал ими младшего сына так искусно, что малютка какою бы частью тела ни падал вниз, а все-таки задерживался на родительских ступнях; в то же самое время две взрослые девицы в коротких розовых с блестками платьях становились родителю на ладони, переходили с ладоней на лицо, даже на нос и в свою очередь подымали вверх по одной ноге, обутой хотя и не совершенно опрятно, но изысканно.

После каждой штуки австрийское семейство обходило зрителей с колокольчиком и металлическим блюдцем в руках, и зрители частью бросали на блюдце мелкую монету, а частью махали руками, отворачивались в противоположную сторону и заговаривали с соседом о вещах посторонних.

В числе лиц, составлявших публику, были и такие, к которым австрийское семейство подходило только для того, чтобы поблагодарить за честь, им сделанную своим присутствием; к избранным этим принадлежала, собственно, одна только особа; окружавшие же ее составляли нечто вроде свиты.

Особа эта была высокая, толстая, с кривыми ногами, с короткою шеєю, одетая в зеленый сюртук с красным воротником и с глянцевым клеенчатым картузом на коротко обстриженной голове. Лицо особы, обтянутое точно такую же кожею, какою обтягивают обыкновенно английские седла, дышало спесью и ежеминутно наводнялось потом; пухлые губы ее одним углом ущемляли крошечный кончик сигары, а другим то выпускали по временам тонкую струйку синеватого дыма, то выплевывали или кусочек шелухи, или другие тому подобные вещи, добытые, вероятно, в «Берлине», а может быть, и в каком-либо другом месте. Веки означенной особы, осененные беловатыми ресницами, сжимались, подобно губам, а из ноздрей небольшого носа выглядывали клочки шерсти, цветом схожей с ресницами.

Несколько позади толстой особы стояло другое лицо с выражением менее спесивым, с носом более продолговатым, с щеками, выбритыми до самых глаз, и с багровою шишкою на правом виске. Это лицо облечено было в мундир с красным же воротником, но панталоны его так лоснились, что мудрено было бы определить с первого взгляда, из чего именно сшиты были эти панталоны, из сукна или камлота. По левую сторону последней особы, по направлению ноги болталась длинная шпага с покрасневшею от времени рукояткою, а на темени красовалась треугольная шляпа кокардою назад.

Каждый раз, когда особа, стоявшая впереди, делала какое бы то ни было движение, особа, стоявшая позади, вздрагивала и наклонялась вперед, но, убедясь, что движение особы,

стоявшей впереди, не относилось к ней, она принимала первобытное положение и замирала вновь.

Третье существо, дополнявшее избранную группу, составляло как бы нечто среднее по значению своему между толстою особою и лицом, стоявшим позади ее. Это существо осенено было подержанным суконным плащом с полами, подбитыми черным бархатом, и с длинными полинялыми кистями, пришитыми к отложному равно бархатному воротнику; картуз существа был соломенный, из-под него выглядывали два довольно длинные виска, несколько взъерошенные. На этом существе надет был вицмундир, триковые светлые панталоны и желтые полуботинки с черными костяными пуговицами; рост его был мал, руки костлявы, а стан вообще погнут вперед и суховат. В подсохшем рту своим держал он черешневый чубук, из которого с трудом вытягивал табачный дым, затягивался им и выпускал его ноздрями; под носом у существа торчали трехдневные усы и подбородок был выбрит тщательно.

Господин этот стоял рядом с толстою особою и беспрестанно вступал с нею в разговор, что толстой особе, по-видимому, не причиняло большого удовольствия.

Толстяк был городничий, барин в соломенном картузе числился в должности штатного смотрителя училища, а треугольная шляпа принадлежала частному. Поодаль от группы стояли разного рода и значения лица, отчасти городские, отчасти приезжие из окрестностей.

– Тихон Парфеныч, а Тихон Парфеныч! – воскликнул штатный смотритель, – ведь вот вы опять спорите, а как мне вам это доказать?

– Да хоть приведите целый уезд в свидетели, не поверю! – отвечал городничий, отворачиваясь.

– Что уезд! хорош уезд, мне уезд не указ!

– Небось в столице все проживать изволили!..

– Бывали и в столицах? что ж?

– Так, заметил...

– Столица – посторонняя статья, а спор идет не о столицах, Тихон Парфеныч, вы, может быть, и очень сведущи по вашей части, а не знаете, между прочим, того, что касается...

– Небось до вашей части? – перебил насмешливо Тихон Парфеньевич.

– Смейтесь, пожалуй, ведь от этого меня не убудет; вашим добром вам же челом; вы всегда так! что не по вас, так только что не рогатиной.

– Зачем же рогатиной? рогатина в лесу – так; а при большом обществе неприлично и упоминать о ней.

– В рогатине ничего нет такого неприличного, Тихон Парфеныч, придирайтесь нечего; я говорю правду, вы всегда так... наемни у Андрея Андреича не то ли же самое произошло, только попался вам слабенький, так вы его за челку, да и скок верхом... а меня извините... да вот, кстати, сам Андрей Андреич... Андрей Андреич! – воскликнул штатный смотритель, выходя навстречу седовласому старичку в синем фраке и в нанковых белых панталонах. – А у нас с Тихон Парфенычем спор завязался, решите, пожалуйста!

В это время седовласый старичок с улыбкою на устах подошел к городничему, протянул ему обе руки, из которых в одну только Тихон Парфеньевич, сунул два толстые пальца; тогда старичок все-таки обеими руками пожал с чувством эти два пальца и потом уже поклонился штатному смотрителю.

– А у нас здесь спор, – повторил последний, – и спор кровавый, – прибавил он шуточным голосом.

– Избави господи! – заметил, смеясь, старичок.

– Истинно кровавый; ни тот, ни другой уступить не хочет, а каково? да, нечего отворачиваться, ваше высокоблагородие, нечего отворачиваться, пожалуйста-ка на суд. – И, обод-

ренный посредничеством третьего лица, штатный смотритель принялся было тормошить городничего, который побагровел от негодования.

– Мы не в пожарном каком-нибудь депе, чтобы так обращаться, – проговорил сквозь зубы Тихон Парфеньевич, – говорить можно просто между собою; надеюсь!

– Знаем, знаем, в претензию вошли оттого, что не по-нашему, знаем, старая штука!

– Прошу вас оставить меня в покое, Дмитрий Лукьяныч, или вынужденным сочту себя...

– Что, что, ну что, скажите, – уже не приказать ли меня того... Полноте, стыдитесь, ведь стыдно, ей-богу, стыдно! Андрей Андреич, – продолжал смотритель, обращаясь к старику, – рассудите нас, бога ради, но только беспристрастно; каким способом достигают эти фигляры, чтобы все члены были перемешаны, вы видели?

– Видел.

– Оттого-то, Андрей Андреич, я у вас и спрашиваю, как, по мнению вашему, доходят они до того, чтобы голова...

– Он ложится на землю, поднимает руки, а на руки становится человек – вот так; сила могучая – правда, а все же неприлично при публике, – заметил Андрей Андреевич, думая, конечно, подделаться тем под мнение городничего.

– Тьфу ты, пропасть какая, опять неприлично, да кто же спорит с вами об этом? Я спрашиваю, по какой методе, думаете вы, доходят люди до такой гибкости членов; ну примерно сказать, возьмем хоть вас, попробуйте-ка, стоя на ногах перегнуться так, чтобы голова очутилась между ног сзади.

– Не дворянское дело, Дмитрий Лукьяныч, не дворянское дело, вот что-с!

– Да могли ли бы вы?

– Не дворянское дело, и предлагать-то подобные вещи неблагородно, Дмитрий Лукьяныч; тридцать два года служил по выборам в разных должностях, и никто из начальства не только такого предложения не делал, а и косо не взглянул.

– Да поймите же, ради бога, в чем дело, Андрей Андреич!

– Кажется, не выстарелся, рассудок не помрачен, а уж кувыряться потрудитесь сами...

– Я говорю Тихону Парфеньичу, что гибкость тела приобретается постепенностью.

– Фигляром-с не был, так и не знаю, – отвечал все-таки с гневом старичок.

– Хороша постепенность, когда, с позволения сказать, затылок касается пяток, – проворчал городничий, пожимая плечами, – хороша постепенность?

– Ну, а по-вашему, что же это такое! – спросил перебежавший от Андрея Андреевича смотритель, – небось кости повынуты – а? нет, батинька, без постепенности ноги выше головы не поднимешь; постепенность до всего доведет, и быка поднимешь, и миллион наживешь.

– Вот научите, так спасибо скажем, – сказал насмешливо городничий.

– И впрямь, научите-ка, – прибавил также иронически Андрей Андреевич, – и он взглянул на городничего, который в свою очередь мигнул глазом и бросил взгляд на частного, – частный зашевелился, вытер рот рукавом и улыбнулся так значительно, что штатный смотритель чуть не плюнул.

– Смеяться и ухмыляться нечего, – продолжал смотритель, – а отложи сегодня грош да завтра грош, когда женибудь придет тот день, что перечесть гроши, и выйдет миллион.

– Да сколько же лет нужно служить для этого, Дмитрий Лукьяныч? – пропищал вполголоса частный, закрывая рот своей сальной перчаткою, как бы стараясь удержать порыв смеха.

Острое замечание частного так понравилось Тихону Парфеньевичу и Андрею Андреевичу, что они оба померли со смеху и, насмеявшись досыта, отправились каждый в свою сторону рассказывать знакомым о пуле, слитой всезнающим Дмитрием Лукьяновичем, кото-

рый, пожав плечами, выколотил трубку свою о носок собственного сапога и, набив ее свежим табаком, сошел с вала и пустился вдоль коновязей, заговаривая с барышниками.

В то самое время, когда, пораженный острым замечанием пристава, штатный смотритель уездного училища бежал с глаз торжествующих его противников, – в двух верстах от городского вала костюковский помещик в сопровождении кучера Тимошки въезжал с проселка на городскую дорогу.

Бог знает, каким способом Тимошка в несколько дней успел совершенно преобразовать наследственную парочку, оставленную родителем Петру Авдеевичу и сделать из нее только что не ухарскую. Пристяжная, круто согнутая в кольцо, вряд ли даже уступала в гибкости своей австрийскому отцу семейства, так близко несла она голову от задних ног; пристяжную управлял сам Петр Авдеевич.

Едва передние колеса тележки его перескочили с разбега чрез гнилой мостик, соединявший проселочную дорогу с большою, как с противоположного проселка, чрез точно такой же мостик, вползла на ту же большую дорогу четверместная оранжевая коляска, запряженная четверкою гнедых, не совершенно ровных, но толстоватых лошадей. Кузов коляски этой весьма походил на померанец с вынутою из него четвертою частью. Впереди померанца на чем-то очень высоком сидел, сгорбившись, худощавый кучер в голубом китайчатом армяке, а рядом с ним грязновато одетый дворовый мальчик в теплой шапке, надетой на самые глаза. Что же и кого заключал в недрах своих померанец, того ни Петр Авдеевич, ни Тимошка рассмотреть не могли, потому что отверстие, находившееся в слишком близком расстоянии от спин сидевших спереди, завешено было чрезмерно ветхим кожаным фартуком. Желая дать вздохнуть бегунам своим, Петр Авдеевич приказал Тимошке осадить коренную и шажком следовал за коляскою померанцевого цвета; долго молча и внимательно рассматривали господин с кучером замысловатый экипаж, наконец Петр Авдеевич первый прервал молчание вопросом: на что так пристально смотрит Тимошка и знакома ли ему коляска?

– Знакома-то знакома, как не знакома, – отвечал кучер, – да идет-то она как-то чудно!

– А что?

– Да вот извольте, сударь, сами взглянуть! – Тимошка собрал вожжи в левую руку и правую указал на переднюю ось.

– Ну что же? я ничего такого не вижу, ось как ось, – заметил штаб-ротмистр.

– И сам я вижу, что ось как ось, а вот дышло-то, полно, здорово ли, чего бы, кажется, вилять ему во все стороны, – ишь как бросает!

И действительно, померанцевый экипаж, знакомый Тимошке, на каждом шагу выскакивал из колеи и заднею частью своей делал такие странные движения, что, будь он совершенно без дышла, ход его не мог быть неправильнее.

Убедясь наконец в истинной причине, заставлявшей коляску кататься во все стороны, наблюдатели наши не сочли нужным предупредить сидевших в нем и приступили – барин к расспросам об ехавших, а кучер к подробному описанию их житья-бытья.

По словам всеведущего Тимошки, *лекипаж* принадлежал вдове уездного судьи Лизавете Парфеньевне Кочкиной, родной сестре городничего, купившей верстах в пятнадцати от Костюкова именишко душ в сорок; покойник, молвят, оставил ей препорядочную кубышку с ассигнациями, которую она запрятала так далеко, что и самому городничему не отыскать; далее он сообщил, что у вдовы был сын, да ономясь помер, говорят, где-то за Херсонью. Да сынка-то барыня не очень жалела, из того, что мотоват был покойник; впрочем, мужики на старую барыню не жалются и работу господскую справляют исправно.

Вот приблизительно те сведения, которые успел почерпнуть Петр Авдеевич из уст кучера своего, трясясь с ним в узкой тележке по сухой и выбитой дороге, как вдруг дорога

эта, свернув вправо, стала спускаться в ров, а с тем вместе и впереди катившаяся коляска начала покачиваться в обе стороны так сильно, что вальки ее били пристяжных по ногам.

– Так и есть, что дышло-то треснуло! э! вовсе переломилось! – воскликнул Тимошка, приостанавливая коренную.

– Что ж тут делать? – спросил барин.

– А что делать? делать нечего, – равнодушно отвечал кучер, – на этой круче хоть черта положи под колеса, не остановить; оно бы еще ничего, как-нибудь спустились бы, да под горой мостишка еле держится, перила словно гриб какой, – сгнили вовсе, так, чтобы с мосту им не слететь, – вот что! – И, кончив повествование свое, Тимошка указал барину своему то, что он называл мостишкой. Глазам же Петра Авдеевича предстала картина, не совершенно схожая с описанием, и прежде замеченный им сквозь частый кустарник ров был только первой ступенью той пропасти, с которой надлежало снестись померанцевому экипажу; по самой середине дороги змеилась извилиною глубокая рытвина, а в конце ее, над другою бездонною пропастью, гнездились то сцепление гнилости, которое на земских картах обозначается громким названием моста, – а в жизни практической только что не *memento mori*!¹

По-видимому, воззрение на вышеописанный ландшафт одинаково подействовало как на штаб-ротмистра, так и на сидевших внутри померанца. Первый крикнул от ужаса, а вторые стали кричать благим матом – дышло коляски их в самом начале ската, выскочив из гнезда своего, уничтожило расстояние, обыкновенно находящееся между вагою экипажа и лошадьми, отчего вся четверня принялась бить с ожесточением.

– Пошел мимо! – крикнул повелительным голосом Петр Авдеевич, и, не дав Тимошке опомниться, отважный штаб-ротмистр, забыв всю опасность, троекратным ударом плети поднял коней своих в карьер и, направляя их по крутому скату горы, очутился в один миг во главе несшейся четверни.

– Держи под них, – воскликнул Петр Авдеевич, намереваясь выхватить вожжи из рук своего спутника, но сметливый, как и большая часть русской братии, Тимошка схватил барскую мысль на лету и, оттолкнув легонько плечом своим его руку, проворчал: «Знаем!» – и богатырским поворотом на всем скаку положил коренную под ноги всей четверни.

Кому случалось участвовать в подобных столкновениях, тот вряд ли определит в точности, какое место занимал он в группе; то же самое случилось и с Петром Авдеевичем, и с бесстрашным Тимошкой, и с безответною парочкою его маленьких коней; все они цеплялись за что-то и освобождались из-под чего-то, тащились несколько мгновений с какою-то чудовищною массою, но наконец масса остановилась, и тысячи голосов раздались где-то вдали.

Услышав их, штаб-ротмистр, очутившийся в самой середине живописной группы и чувствовавший на теле своем какую-то неопределенную тяжесть, решился пошевелить ногою, нога подалась, боли не было, – он вздохнул свободнее и двинул другою ногою, и другая цела... «Слава богу», – прошептал Петр Авдеевич и раскрыл глаза, – над самым лицом его явственно обрисовалась передняя ось коляски со всеми принадлежностями, к плечу прислонялось колесо, лошадиная нога покоилась на желудке, а правым боком касался он четырех копыт правой коренной, которая равно лежала и из-под которой торчали Тимошкины ноги.

Неизвестность об участи кучера возвратила штаб-ротмистру всю его бодрость, он приподнял голову, уперся правым локтем в землю и, освободив желудок свой из-под лопаты, стал на колени.

– Жив ли ты, Тимошка? – проговорил нетвердым голосом Петр Авдеевич, не смея взглянуть за спину правой коренной.

¹ Напоминание о неотвратимой гибели (лат.).

– Кажись, жив, – отвечал тот, – да прижала больно скотина,дохнуть не могу.

– А жив, так ладно, – воскликнул радостно барин, вскочив на ноги, усердно принялся тащить с Тимофея давившую его коренную, рвать на ней сбрую и растягивать зубами те узлы, которых руками одолеть не мог. Углубленный в занятие свое, штаб-ротмистр не замечал происходившего вокруг него; он даже не подозревал, что глубоким оврагом, в который неслась померанцевая коляска, отделялся городской вал от того места, где ценою жизни своей готов был Петр Авдеевич искупить жизнь людей, ему совершенно незнакомых, наконец Петр Авдеевич не подозревал и того, что свидетельницею его самоотвержения была целая ярмарка и что тысячи людей окружали его в эту минуту; но штаб-ротмистру было не до них, и, пока Тимошка не оттер себе боков, не почесал головы и с помощью барина не поднялся, кряхтя, на ноги, костюковский помещик не замечал никого и ничего.

Но Тимошка вспомнил о шапке и принялся искать шапки, а штаб-ротмистр повернул голову назад и остолбенел.

Вокруг него толпился народ, а рядом с ним, поддерживаемая каким-то толстым господином в мундирном сюртуке, стояла бледная, но красивая женская фигура с такою улыбкою на устах, что штаб-ротмистр невольно улыбнулся сам и принялся застегивать сюртук, у которого, однако же, не оказалось правого лацкана.

– Ну, батюшка, славное вы дело сделали, сударь, да вознаградит вас бог за такое мужество, – проговорил толстый господин, протягивая руку свою штаб-ротмистру, – позвольте теперь узнать, кому я обязан спасением сестры и племянницы, – прибавил тот же господин, указывая на бледную девушку, говорившую также что-то не совсем понятное.

– Помилуйте, стоит ли? – отвечал Петр Авдеевич, продолжая искать своего лацкана. – Кучер свинья, его дело было заметить, что дышло надломано, ему поддать хорошенько...

– Но ваш поступок так благороден...

– Я случайно съехался с ними и давно постичь не мог, отчего коляска шныряет то вправо, то влево, а вышло на поверку, что дышло действительно переломлено, – поддать бы кучеру не мешало-с, право...

Но тут речь штаб-ротмистра перебита была пронзительным голосом барыни пожилой и тощей, как смоква; она и пространно, и велеречиво выразила благодарность свою, называя Петра Авдеевича благодетелем, благородною душою и дюжиною подобных названий, на которые оглушенный штаб-ротмистр не успевал и не находился отвечать. Но толстый господин в свою очередь перебил речь тощей барыни и объяснил Петру Авдеевичу, что тощая барыня была сестра его, а бледная девица племянница, а сам он городничий, а заключилось объяснение приглашением откушать.

Штаб-ротмистр взглянул на свой изорванный сюртук, покрытый пылью, хотел было отговориться, но городничий без церемонии схватил его под руку и только что не потащил насильно по направлению к мосту; за ними последовали: вдова уездного судьи, дочь ее, пристав с шишкою на виске, Андрей Андреевич в синем фраке и, наконец, народ, сбежавшийся с ярмарки.

Забытый всеми Тимошка, отыскав шапку, принялся с помощью барыниного кучера и нескольких зевак распутывать лошадей, ставить их на ноги, которую бить, которую гладить, приговаривая то крупнее словцо, то ласку еще крупнее крупного словца, – и по прошествии двух-трех часов, померанцевый *лекитаж* и скромная штаб-ротмистрская тележка чинно въехали в шлагбаум уездного города, в котором весть о чудном спасении вдовы и ее дочери разнеслась со всеми бывальыми и небывальыми подробностями. Остается прибавить, что Тимошка, неизвестно с какою целью, но пользуясь, вероятно, благоприятными для него обстоятельствами, поручил тележку свою кучеру вдовы уездного судьи, а сам торжественно воссел на козлы померанцевой коляски.

Кому хотя раз случалось проезжать по западным губерниям, тот не мог не заметить родственного сходства большей части уездных городов. Положим, что, по дешевизне леса, количество находящихся в них каменных строений одинаково ничтожно в сравнении с деревянными; допустим, что и главные городские здания, как-то: тюрьмы, присутственные места и почтовые станции – схожи во всех городах, потому что строятся по одним и тем же планам и что для зданий этих выбираются места одинаковые, – для тюрем городские выезды, для присутственных и почтовых домов площади и так далее. Но почему же частные обывательские дома подчинились общему закону сходства? почему же сходство это не только не ограничивается постройками, но распространяется в городах западных губерний и на жителей, на лошадей, на рогатый скот и на все животное царство, не исключая птиц?

Возьмем на выдержку любой предмет, жида например: во-первых, жид во всех этих городах неопределенного цвета; он тощ, веки глаз его без ресниц, камзол его без фалд, на пальцах вместо ногтей растет древесная кора, а темя покрыто такими вещами, которых не определит ни один естествоиспытатель. В городах западных губерний тропинки, проложенные сынами Израиля по улицам и переулкам, идут обыкновенно у самой подошвы заборов и исчезают на поворотах, потому что жид, подходя к углу дома, повертывается к нему лицом, обхватывает угол обеими руками и тогда уже переносит ногу на другую сторону. Ткани, употребляемые тамошними жидами на одежду, не ткуются нигде и никогда не бывают новы; их как бы ловят они в тех океанах грязи, которыми окружены жидовские жилища, в которых гнездятся их дети и которых, наконец, не высушивает никакое солнце в мире; без этой грязи не прожил бы ни один жид ни двадцати четырех часов.

Перейдем к лошадям; конь западных городов принадлежит более к произведению зодчества, чем природы, потому что последняя влагает в него только жизнь, но формы отделяются уже впоследствии палкою; создание это редко перерастает полтора аршина, ноги его коротки, а копыта заменяются какими-то нековаными ногтями; палка и плеть, неразлучные с кожей этих лошадей, позволяют шерсти расти только в тех местах, которые недоступны для этих орудий, а именно на глазах и внутри ушей; все же остальные части тела похожи на голенища ямских сапог, вымазанных дегтем. Кони западных губерний имеют свойство бежать только с горы, и в этом случае нередко привязанные к ним сани без подрезов, принимая косвенное направление, сначала перегоняют их, а потом увлекают за собою в глубокие рвы, реки или боковые канавы. Корм этих лошадей не ограничивается овсом и сеном, с которыми они встречаются редко; их же корм служит предварительно кровом домов, а потом уже, мелко изрезанный, поступает в конский желудок. Рогатый скот походит на лошадей ровно столько же, сколько городские мещане на евреев; нечистота и неопрятность господствуют повсюду, и горе тому, кого судьба забросит в такой городок в холодное зимнее время и на долгое жительство!

Впрочем, оставим покуда рогатый скот и перейдем к герою рассказа нашего Петру Авдеевичу Мюнабы-Полевелову, которого с триумфом сопровождала многочисленная толпа от заставы до дома городничего.

На пути узнал наконец градоначальник, что спаситель родственниц его был не кто другой, как сын покойного Авдея Петровича, и на пути же передана была эта весть Андрею Андреевичу, Дмитрию Лукьяновичу и новым лицам, прибывавшим со всех закоулков и умножавшим собою свиту штаб-ротмистра; сам же штаб-ротмистр находился в самом неловком положении; шедши рядом с городничим, он высмотрел беспорядок, происшедший в одежде его во время падения померанцевой коляски, и беспорядок этот был такого рода, что, не будь оторван лацкан у сюртука, а вместе с ним и значительная часть полы, его никто бы не заметил. Но полы не стало, и напрасно старался он соединением оставшейся полы с изорванным краем одежды скрыть происшедшее с ним несчастье, напрасно прибавлял он шаг и избегал поворотов; сопутствовавшие ему лица, как нарочно, забежали вперед, и Петра

Авдеевича бросало то в жар, то в холод; но вот площадь, дощатое крыльцо городнического дома, несколько кривых ступень, и он спасен! Нет! в дверях прихожей неумолимый рок готовил нашему герою новое страшное испытание: предупрежденная кем-то супруга городничего и две дочери, очень взрослые, почли долгом приветствовать гостя, первая длинною речью, а вторые книксеном и сладчайшею из улыбок. Петр Авдеевич вспомнил о картузе своем и прикрыл им беспорядок, но городничий, подошедший с тылу, взял Петра Авдеевича за ту самую руку, которая держала картуз, и потащил в залу. Положение штаб-ротмистра становилось так затруднительно, что, не высмотрев он большого кожаного кресла в темном углу первой комнаты, он выскочил бы, может быть, в первое окно, но кресло и темнота угла представились глазам его как последнее и единственное средство к спасению, и, подобно утопающему, бросающемуся на случайно плывущую доску, он бросился в угол в кресло и внутренне поклялся не двигаться, пока не представится случай бежать. И так, сидя неподвижно, принял костюковский помещик как новые поздравления гостей, так и вторичные уверения семейства городничего в вечной признательности за оказанную им услугу.

Все это выслушал Петр Авдеевич с достоинством и сидя; когда же в свой черед подошла к нему бледная племянница городничего и с румянцем стыдливости на лице протянула ему свою хотя и не миниатюрную, но очень пухленькую и довольно беленькую ручку, Петр Авдеевич вскочил на ноги, уронил картуз, поцеловал протянутую руку красавицы и, опомнившись, опрометью бросился в первую попавшуюся ему дверь; по счастью, вела дверь эта в канцелярию городничего, куда немедленно явился и он сам.

– Что с вами, почтеннейший Петр Авдеевич? – спросил городничий, осматривая с удивлением гостя своего, – мы уже вообразили себе, что вы занемогли, боже упаси?

– Не то чтобы занемог, – отвечал с застенчивостию штаб-ротмистр, – но находиться в дамском обществе в таком наряде, как мой, неловко как-то.

– Полноте, сударь, общество это с сегодняшнего дня вам более не чуждо, и кто же выщепет с человека, который готов был жертвовать...

– Все так, Тихон Парфеньич, а все-таки...

– И! ровно ничего, поверьте слову.

– Но...

– Что же но?

– Но, – повторил штаб-ротмистр, оглядываясь во все стороны, – вы взгляните сюда; я и не заметил сначала.

– Да, так вот что, – проговорил городничий, взявшись за бока, – ну, это обстоятельство иное, конечно, не то чтобы ловко при дамах; впрочем, мы делу поможем. – Анисим! Анисим! – закричал Тихон Парфеньевич, выглянув из двери, – принеси-ка, братец, мой стеганный архалук.

– Как архалук? – спросил штаб-ротмистр, – для кого же это архалук?

– Не тревожьтесь, почтеннейший, архалучек-то с иголки, жена намерилась подарить.

– Сила не в новизне, а как же мне его надеть? разве просидеть здесь?

– Как бы не так.

– Так неужели я решусь показаться в нем при дамах?

– А вы думали?

– Нет уж, Тихон Парфеньич, вы меня извините.

– И дамы извинят, ручаюсь, – перебил, смеясь, городничий.

– Ну уж нет, Тихон Парфеньич.

– Не нет, а да!

– Ну уж нет!

– Посмотрим! Дарья Васильевна, Александра Осиповна, Маланья Андреевна, пожалуйте-ка сюда на часок, – закричал городничий так громко, что на зов его тотчас же отозвались три женские голоса.

– Что вы это, Тихон Парфеньич, – жалобно завопил штаб-ротмистр, бросаясь запирать дверь, – ведь этак вы меня губите совершенно, ведь этак я пропаду совершенно со стыда.

– Дарья Васильевна, пожалуйте-ка сюда, матушка, – продолжал кричать городничий, – вот в чем сила, тут вы?

– Тут, тут, – пропищали за дверью те же три женские голоса.

– Тихон Парфеньич! Тихон Парфеньич! – прошептал еще жалостнее штаб-ротмистр, – ради самого бога!

– Нет, сударь, ни за что, – продолжал городничий, – вы не хотите сделать нам чести откушать с нами, потому что...

– Тихон Парфеньич!..

– Потому что, спасая наших же, разорвали себе платье, так это, сударь, не причина, потому что я предлагал вам архалук, и дамы, верно...

– Тихон Парфеньич, согласен! но только именем создателя...

– Я говорю, что дамы, верно, присоединятся ко мне, чтобы просить вас.

– Надеюсь, уверены; да как же иначе, Петр Авдеевич, все мы просим, требуем, умоляем, – раздалось за дверьми несколько пискливых голосов, и так звонко, что штаб-ротмистр пытался было отвечать им что-то, но перекричать не мог; когда же голоса замолкли, несчастный Петр Авдеевич вынужден был дать честное слово явиться в гостиную в наряде Тихона Парфеньевича.

Наряд этот немедленно принесен был Анисимом, а состоял он из штуки цветной термаламы, приведенной руками Дарьи Васильевны, то есть супруги городничего, в форму стеганого архалука для плеч супруга и халата для стана Петра Авдеевича. Как ни жеманился, как ни вертелся бедный костюмовый помещик, подобно полипу впился в него Тихон Парфеньевич, и помощью мощных рук его штаб-ротмистр не вошел, а вдвинут был насильно в среду многочисленного общества, значительно увеличившегося во время кратковременного отсутствия хозяина и гостя.

– Мне так конфузно, что вы представить себе не можете, я бы то есть предпочел бы в преисподнюю, – говорил, обращаясь во все стороны, Петр Авдеевич, и на это кто отвечал, что платье не делает человеком, кто уверял штаб-ротмистра, что душевные качества составляют главное убранство человека, остальное же вздор, мечта... Но эти утешения могли бы принести гостю некоторую отраду, будь только архалук Тихона Парфеньевича поуже, да не заходи талия его слишком низко на спине; на беду же штаб-ротмистра, в гостиной, как нарочно, повешены были зеркала одно против другого, и, куда бы ни направился взор его, всюду встречал он себя в самом неавантажном, в самом забавном виде.

«И когда подумаешь, что всему причиной проклятый лацкан, – говорил сам себе Петр Авдеевич и приговаривал: – Вот так бы кажется!..» Но спасительные для штаб-ротмистра три часа перевели всеобщее внимание с архалука его на круглый стол, уставленный закускою, и все члены общества стали переходить от гостя к кулебяке с визигою, к поджаренным печенкам, к сельдям, фаршированным ситным хлебом, к копченой любской колбасе и к водкам алого и зеленого цвета.

Многих из гостей хозяевам нужно было упрашивать откушать, а многих не мешало бы приостановить; к числу последних принадлежал Дмитрий Лукьянович в желтых ботинках, который между прочим не переставал бросать на Петра Авдеевича не совсем дружелюбные взгляды. Причина нерасположения штатного зрителя к герою нашему объяснилась впоследствии.

– Однако четвертый час, господа! – воскликнул хозяин и, вытащив изо рта завязнувший меж зубов хвостик селедки, он подвел бледную племянницу к Петру Авдеевичу, прося его занять с нею почетные места за столом.

Снова все взоры обратились на штаб-ротмистра, и снова смешался штаб-ротмистр, но все встали с своих мест, и делать было нечего; он взял девушку за руку и пошел в столовую.

Не стану описывать ни числа, ни качества блюд – скучно; обед был сытен, вина подкрашены, прислуга неопрятна, Андрей Андреевич приторен, штатный смотритель весел, а бледная красавица неговорлива.

Несколько раз принимался было Петр Авдеевич заговаривать с соседкою своею; но один мгновенный румянец был единственным ответом на вопросы гостя.

– Что же ты, Полинька, так молчалива? – заметила наконец тощая вдова уездного судьи. – Ты не красней, а отвечай на то, что Петр Авдеевич у тебя спрашивает.

– Помилуйте, Елизавета Парфеньевна! это ничего-с; зачем же беспокоиться Пелагее Власьевне; я так спрашивал, чтобы поговорить что-нибудь просто, – отвечал штаб-ротмистр, которого три рюмки хереса примирили с длинною талиею архалука.

– Как ничего-с, Петр Авдеич, – возразила вдова, – учтивость требует, чтобы девица отвечала кавалеру, тем более что вы избавитель наш.

– Помилуйте-с, Елизавета Парфеньевна!

– Как помилуйте-с, я от сердца говорю, я чувствую, что говорю, и Полинька должна чувствовать.

– Но стоит ли того-с, помилуйте-с.

– Надеюсь, что стоит, Петр Авдеевич.

– Право, не стоит, Елизавета Парфеньевна, да я могу вам сказать, – продолжал штаб-ротмистр, – что у меня обыкновение такое; раз вижу-с опасность какая-нибудь и кто бы то ни был подвергается, – уж мое почтение, чтоб выдал, с риском живота готов на опасность.

– Прекрасное свойство! – заметил соборный священник, сидевший против штаб-ротмистра.

– Какое прекрасное-с? – перебил Петр Авдеевич, – напротив, могу сказать вам, большое дурачество; право, иногда сам себе говорю и дивлюсь потом, ну, как, например, года четыре назад привели ремонт-с – вот-с, выводят поодиночке, а между манежем и денником такая скользкая тропинка, кобыла зашалаила и ну лягаться – верите ли, приступу нет. У нас же известно... вот вы не служили в кавалерии? – с этим вопросом обратился было Петр Авдеевич к соборному священнику, но, опомнясь, перенес взгляд на другие лица; не заметив, как видно, ни одного, который бы, по его мнению, мог служить в кавалерии, штаб-ротмистр прибавил: – Все равно-с, – и продолжал: – Известно у нас, что как лошадь залягает, так уловчись только схватить ее ловко за хвост, мигом подождется, и кончено-с; я подумал, да и хватил!

— Что же она? – спросили несколько голосов.

– Она присела, голубушка, и ни-ни!

– Неужели? какая отвага!

– Отвага? пусть себе отвага! однако же оборвись рука! или случись другое что! так бы свистнула, что чудо! То же самое-с и сегодняшний случай, ну, будь гнедой ваш попрыгче, разможил бы лоб, и больше ничего-с!

– Ох! – едва крикнула бледная красавица.

– Да упаси же бог! – проговорила вдова, и большая часть гостей значительно перемигнулась, смотря попеременно то на спасителя, то на спасенных.

После жаркого подали шампанское, разлили его по бокалам, и городничий провозгласил тост Петра Авдеевича, сестры своей вдовы и племянницы.

– Зачем мое, братец? – громко заметила вдова, – мне пора умирать, а пить здоровье тех, кто помоложе. Петр Авдеич, позвольте вам пожелать всякого благополучия, – прибавила она, вставая.

– Уж не одного-с, а ежели позволите, то Пелагеи Власьевны, – отвечал, вставая в свою очередь, штаб-ротмистр.

– А так, так, так! быть по сему! – завопил городничий, и все с шумом поднесли бокалы к губам.

Дмитрий Лукьянович заметил было, что тост этот похож на свадебный, за что и ущипнул его пребольно сидевший рядом городничий. . . Тем и кончился обед, с которого в скором времени отуманенные гости расползлись по домам своим, предоставив гостиную градоначальника родственному кружку его, Петру Авдеевичу и неотвязчивому смотрителю училища.

Промежуток между обедом и вечером посвящен был мужчинами висту с болваном, а под вечер собралась городская молодежь, состоявшая из так называемых приказных и женского чиновничьего пола.

Городничий предложил было повторить утреннюю прогулку по ярмарке, но штаб-ротмистр объявил решительно, что хотя и просидел в доме его целый день в архалуке, но в таком неблагопристойном виде, конечно, в народ не покажется и не сделает такого неучтивства, а ежели хотят, то готов он, Петр Авдеевич, повеселить всех играми и предлагает себя в коршуны.

– Ах, как это весело! – закричали дочери городничего, и в тот же миг, отодвинув Столы и стулья, вся компания как девиц, так и молодых людей построилась в одну линию, перепоясала друг друга носовыми платками и, подпрыгивая, приготовилась ко всем возможным эволюциям.

Защитником стада избран был Дмитрий Лукьянович. Штатный смотритель растопырил руки, расставил ноги и подал знак к началу. Противники оказались равными по силе; с ожесточением напал на крикливое стадо Петр Авдеевич; с ловкостью, свойственной роли, им разыгрываемой, неоднократно вцеплялся он то в белые платья девиц, то в полы чиновничьих сюртуков, но каждый раз между им и белым платьем появлялось влажное лицо штатного смотрителя, и коршун находился вынужденным направлять атаки свои в другую сторону. «Постой же, – подумал штаб-ротмистр, – уж ты у меня чубурахнешься, мокрая образина», – и действительно, еще одно всеобщее движение, и штатный смотритель всем телом грянулся об пол.

Торжествующий Петр Авдеевич выхватил из рассыпавшегося стада бледную племянницу городничего; все расхохотались, но Дмитрий Лукьянович не разделял всеобщей радости и, поднявшись, пресерьезно подошел к победителю.

– Вы, государь мой. . .

– Что? – спросил штаб-ротмистр.

– Вы, государь мой, – повторил штатный смотритель, бледнея.

– Что же, продолжайте.

– Я бы сказал вам, но. . .

– Но форсу не хватает, верно, – прибавил, смеясь, Петр Авдеевич, и, бросив на противника презрительный взгляд, он подошел к перепуганной Пелагее Власьевне, которая умоляющим голосом и в весьма трогательных выражениях заклинала его не вызывать на дуэль Дмитрия Лукьяновича, возненавидевшего Петра Авдеевича, по словам ее, за то. . . тут красавица снова покраснела и потупила глаза.

– Как возненавидел, за что возненавидел? – спросил, не понимая недоконченной речи, штаб-ротмистр.

– Я, может быть, не так выразилась, Петр Авдеевич, – пролепетала девица, – а то мне показалось, что они сердятся на вас за то, что вы, Петр Авдеевич... со мною говорите.

– Так вот что, – воскликнул штаб-ротмистр, и с этим восклицанием он покотился со смеху. Игра в коршуны заменена была шнурком со вздетым в него колечком. Те лица, в руках которых находилось колечко, обязаны были класть фант; игра эта так понравилась всему обществу, что сам городничий, Андрей Андреевич и даже частный приняли в ней участие. Дмитрий Лукьянович, по причине сильного ушиба, отдалился от всех и из угла соседственной комнаты неприязненно посматривал на счастливого соперника, который не удостоивал его и взглядом.

Время летело, как птица, и розыгрыш фантов заключил удовольствие вечера. Назначение наказаний предоставил себе сам хозяин дома, и, заключив фанты в свой клеенчатый картуз, Тихон Парфеньевич расположился с ним в кресло на самой середине залы.

– Ну, смирно! – заревел он повелительным тоном, – теперь прошу садиться по местам и слушать, что я буду назначать; первый фант должен... должен проплясать трепака; да только знайте, кому достанется, не отговариваться, и в присядку, не то во время ужина засадим под стол и отпустим голодного.

– Ах, да это ужасно! да этак умереть можно от страха! – раздалось отовсюду.

– Не умрет никто, не беспокойтесь, – возразил городничий, – а что сказано, то будет сделано, и первый фант... – он вытащил мраморного цвета замшевую перчатку.

– Петра Елисеича, Петра Елисеича, – закричали, прыгая, девицы. – Петр Елисеич, пожалуйте, пожалуйте!

– Как, братец, перчатка-то твоя? – заметил лукаво городничий, будто удивленный нечаянностью случая. – Делать нечего, братец! – И Тихон Парфеньевич бросил фант знакомому нам частному приставу.

– Что же мне делать прикажете? – спросил с ужимкою пристав.

– Как, братец, что? не слыхал разве? пляши трепака.

– Да помилуйте, где же мне! да как же я буду плясать? – пропищал, ухмыляясь, Петр Елисеевич.

– А уж как знаешь, только пляши.

– Ей-ей, забыл!

– Врешь, братец, врешь! давно ли я видел своими глазами чрез окно, как на крестинах у поверенного?... не надуешь, брат!



– Да ведь то случай такой вышел, Тихон Парфеныч, воля ваша.
– И теперь случай, да не отговаривайся; ведь не простим!
– Право, не знаю, как же это!
– Просто, братец. Дениска, скрипку! готова небось, ну кислятничать нечего! подбери-ка фалды, да и марш! – прибавил городничий.

И старый пристав, подобрав фалды, присел на пол и под звук Денискиной скрипки и громкого хохота предстоявших, проехал три раза по полу комнаты, выкидывая из-под себя ноги с неимоверною быстротою.

– Ай да Елисеич, ай да молодец, – кричал городничий, – что лихо, то лихо! вот так и поддал бы тебя плеткой, словно волчок. – И сравнение городничего заслужило поощрение, выраженное всеобщими рукоплесканиями.

Отплясав свой фант, частный, шатаясь и очень довольный собою, вышел из комнаты, а Тихон Парфеньевич провозгласил обязанность второго фанта; состояла она в правдах, которые должен был сказать каждому тот, чья вещь попадает на очередь.

– Двугривенный, – воскликнул городничий, вынимая из кармана своего монету. – Чей двугривенный?...

- Мой, Тихон Парфеиыч, – застенчиво отвечал юноша, выступая вперед.
- Твой, брат Гаврюша, что же? валяй!
- Как же мне говорить правду?
- Как знаешь, твое дело.
- Да мне совестно-с!
- Чего совестно, говорить-то правду, разве уж все дурное такое?
- Да нет-с, я не то хотел сказать, Тихон Парфеныч.
- Что же?

– Я, ей-богу, не знаю.

– Экой же, братец, ты какой мямля, Гаврила, ну подойди просто к кому-нибудь да и вавакни: вы, мол, такой, а вы сякой – трудно небось?

Застенчивый юноша, медленно перебирая пальцами, отправился ходить около сидевших и, остановясь противу старшей дочери городничего, шепнул ей что-то вполголоса.

– Что ты там говоришь? – спросил городничий.

– Я говорю, Тихон Парфеныч, что Катерина Тихоновна очень хороша лицом.

– Довольно, братец Гаврила, остальные пусть сами отгадывают, чем бы ты их подарил, – сказал городничий, – возьми-ка, брат, свой двугривенный да садись на место; теперь очередь за третьим. Третьему, – повторил он, – быть зеркалом.

– Чудесно, чудесно, – крикнули несколько женских голосов.

– Золотая печать с сердоликом, Андрей Андреич, твоя, милости просим, – сказал городничий, – садись-ка против меня да слушай, что бы я ни делал, ты делай то же.

– Постараюсь, Тихон Парфеныч, постараюсь, только уж вы, пожалуйста, не очень, – отвечал седовласый старичок в синем фраке.

– Небось плясать не стану как Елисеич! – И градоначальник, придвинув кресло свое к усевшемуся Андрею Андреевичу, начал строить такие гримасы, от которых вся публика пришла просто в восторг. Тихон Парфеньевич вывертывал веки глаз, вытягивал уши, сплющивал нос, подносил носок ноги к подбородку и, натешившись досыта, уступил место своим другим лицам. Другие делали то же; девицы грациозно приседали, кавалеры шаркали; Петр Авдеевич, взяв палку, делал военный артикул, брал на плечо, на караул, и все, к удивлению зрителей, выделявал за ним Андрей Андреевич. За фантом Андрея Андреевича последовали другие фанты, другие фарсы и, наконец, фант Петра Авдеевича: ему приказано было выбрать из всех красавиц ту, которую сердце его избрало из среды всех, и вести ее за стол...

Штаб-ротмистр выбрал Пелагею Власьевну и при оглушительном рукоплескании повел ее в столовую, где ожидал все общество жирный ужин и повторение тостов. За столом щечки Пелагеи Власьевны покрылись ярким румянцем, а штатный смотритель промолчал все время, отказался от шампанского и по окончании стола скрылся, никем не замеченный.

Гости разъехались и разошлись; сестра городничего с дочерью поместились на женской половине дома Тихона Парфеньевича, а Петра Авдеевича не пустили в Костюково, и сам городничий отвел его в гостиную, где на диване уже приготовлена была мягкая постель и все необходимое для ночлега.

– Вы, почтеннейший Петр Авдеевич, отбросьте, пожалуйста, всякие фасоны, – сказал штаб-ротмистру городничий, – и считайте отныне и навек дом мой своим собственным, семью мою своею собственною; что же касается до дочек и племянницы, – прибавил Тихон Парфеньевич, двусмысленно улыбаясь, – так уж это атанде-с! – После чего, крепко пожав руки гостя и поцеловав его два раза, хозяин пожелал ему покойной ночи, наимприятнейшего сна, осмотрел, все ли нужное приготовлено, и, убедясь, что все, вышел из комнаты и прислал к гостю Дениску.

Как ни был умственно развлечен Петр Авдеевич, а оставаясь с глазу на глаз с Денискою, он вспомнил о Тимошке и потом об несчастном сюртуке, единственном остатке своего военного гардероба. На первый вопрос отвечал Дениска штаб-ротмистру, что кучер его закусил вплотную, выпил за барское здоровье стакан-другой пенного и залег на сеновал; на второй вопрос Дениска отвечать не сумел, потому что сюртук Петра Авдеевича передан был самим Тихоном Парфеньевичем квартальному надзирателю, а для какой причины, уж этого Дениска не ведал, и сам штаб-ротмистр догадаться не мог. Отпустив Дениску с сапогами своими, Петр Авдеевич закурил трубку, выпил стакана два воды, стал сначала думать, потом дремать, а потом и спать крепким сном.

Неодинаковых, видно, свойств с Петром Авдеевичем была Пелагея Власьевна Кочкина, и хотя так же скоро разделась, как он, так же поспешно улеглась в постель, как он, однако не дремала и не смыкала глаз до утренней зари.

Пелагея Власьевна провела жизнь свою в городе у дядюшки, протанцевала, это правда, большую часть зим в доме дядюшкином же, но до настоящего двадцатитрехлетнего возраста еще не любила никого и с внутренним, тревожным, как то водится у девиц, волнением не помышляла о замужестве: брак казался ей тою прозаическою необходимостью, которой должна подчиниться большая часть девиц, которой в свою очередь подчинилась и мать ее, тощая Елизавета Парфеньевна, и тетушка-городничиха; брак, по понятиям Пелагеи Власьевны, значил, во-первых, девичник, потом сбор приданого: две дюжины ткацкого белья, тафтяное одеяло, венчальное белое платье, цветочный венок, потом венчальный обряд, обед с шампанским, танцы, а там уже и муж, все равно какой бы ни был; впрочем, муж мог и не быть.

Пелагея Власьевна, как ни была несведуща о прямых обязанностях супругов, а положительно знала и слышала, что самую неприятную для жен принадлежностью брака бывают мужья; не они ли всегда заставляют женщин проливать слезы, и не они ли бранятся громко, пьют много водки и не дают денег; следовательно, не тверди часто дочери Елизавета Парфеньевна, что замуж пора настала давно, что засидеться в девках стыд большой, что над старыми девками смеются, дочь и не помышляла бы о замужестве.

За Пелагеею Власьевною приволакивался давно уже Дмитрий Лукьянович и частенько наезжал к ним в деревню; Пелагее Власьевне даже казалось, что Елизавета Парфеньевна ласкает его и нередко заводит с ним речь о счастье быть искренно любимым, о неизъяснимом наслаждении для мужчины иметь близ себя всегда хорошенькую жену с томным и выразительным взором, жаждущим ласки, и что блаженство иметь от такой супруги малюток еще выше, еще благороднее; на что отвечал обыкновенно штатный смотритель маслеными глазами, которые, впрочем, он направлял не на Елизавету Парфеньевну, а на нее, Пелагеею Власьевну. Но глаза эти, как ни старалась переломить себя Пелагея Власьевна, всегда наводили ей тошноту, о малютках же и о высоком благородном блаженстве иметь их от штатного смотрителя Пелагея Власьевна и подумать не могла без того неприятного чувства, от которого как будто что-нибудь налегает на самое сердце и давит его до тех пор, пока хоть вон из комнаты беги.

То ли же самое ощущала она теперь, приводя себе на память хотя и не совершенно чистый цветом, а несколько смугловатый образ Петра Авдеевича, и развязную его поступь, и движение кистей рук, и черные усы длины безмерной, но чудесной... нет, не то, совсем не то! А как к движению тела и цвету усов присоединить геройский поступок Петра Авдеевича и опасность, которой подвергался Петр Авдеевич для нее с маменькой...

– Нет, – шептала Пелагея Власьевна в подушку свою, – этого человека я должна, я обязана любить не так, как кавалера, не так, как знакомца, а как свыше ниспосланное существо, без которого я в этот момент была бы мертвое, оцепеневшее тело, бездыханный цветок, срезанный злым роком и брошенный на большой дороге; без него сердце мое перестало бы биться, а душа отлетела бы туда! – И при этой мысли Пелагея Власьевна, невзирая на совершенную темноту ночи, поднимала взор к потолку и испускала глубокий-преглубокий вздох. Этот вздох долетал до слуха спавшей с нею рядом Екатерины Тихоновны, и Екатерина Тихоновна преравнодушно спрашивала у кузины, о чем она вздыхает и не кусает ли ее что-нибудь; на что созванная на землю Пелагея Власьевна, еще раз вздохнув, отвечала, что ее не кусает ничто; и новая тишина водворилась в девственном покое, и новые мечты, одна другой отраднее, снова забродили в взволнованном воображении племянницы Тихона Парфеньевича.

По прошествии часа в воображении этом обрисовались уже картины появственнее, поотчетливее, и Петр Авдеевич принимал уже в них образ довольно близкого человека, то есть жениха, а там и очень, очень близкого человека, то есть мужа; тогда встревоженная Пелагея Власьевна приходила в тревожное, но приятное состояние, сердце ее начинало не биться, а трепетать, за трепетанием следовали такие новые ощущения, которых, конечно, не произвел бы в ней во сто лет почтенный Дмитрий Лукьякович; напротив того, едва касалась мысль девушки и не самого штатного зрителя, а хотя желтых ботинок его, тотчас же сердце Пелагеи Власьевны переставало трепетать, а на новые ощущения будто наливали целую кадку холодной воды, – так неприятен был этот поворот воображения, это грубое отступление мысли от любимого предмета к ненавистному, и уже не вздох, а стон выражал мгновенное состояние души... и на этот звук отзывалась Екатерина Тихоновна вопросом, не кусает ли что-нибудь, и хотя получала отрицательный ответ, однако ответ Пелагеи Власьевны не произносился более заунывным, раздирающим голосом, а резким, отрывистым.

Едва первый солнечный луч заглянул в неплотно завешанные шейными платками окна Пелагеи Власьевны, послышался отдаленный стук колес, и в то же время в воображении ее промелькнула страшная, убийственная мысль.

Что, если стук этот – стук колес тележки Петра Авдеевича? – очень может быть. Не желая, вероятно, нарядиться снова в дядюшкин архалук, гость воспользуется всеобщим сном и уедет к себе; он не знает, что спят не все в доме, он не знает, что есть существо, которое не смыкало глаз до утра, мечтая о нем! И, мысленно выговорив последнюю фразу, Пелагея Власьевна поспешно соскочила с кровати, подбежала к окну, сорвала платок и, отворив окно, заглянула на улицу. Но нет, слава богу, то была не она, не телега Петра Авдеевича, а несколько телег, нагруженных чем-то; Пелагея Власьевна вздохнула свободнее, прикрепила вилками платок к притолке, возвратилась на цыпочках в постель и улеглась на ней, дрожа всем телом.

Менее чувствительный и более усталый Петр Авдеевич проспал всю эту ночь богатырским сном и только с первым ударом соборного колокола, призывавшего к ранней обедне, раскрыл глаза. В этот час обыкновенно вставал штаб-ротмистр, находясь еще на службе; в этот час отправлялся он, бывало, в манеж, но манежа не стало для отставного эскадронного командира, и потому заменил он его конюшнею, а сотню лихих строевых коней своих парюю лошадок шерсти неопределенной.

Петр Авдеевич протер себе глаза, надел сапоги, набил трубку, высек огня, закурил, затянулся как должно и, прижав большим пальцем приподнявшуюся табачную золу, осторожно вышел из своей опочивальни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.